



Николай Максимович Ольков родился в 1946 году в селе Афонькино Тюменской области. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Публиковался в ведущих федеральных и региональных изданиях. Автор многих книг прозы. Лауреат всероссийских литературных премий им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, им. Н.А. Некрасова, премии «Имперская культура» им. Э. Володина, премии Уральского федерального округа, Международной Южно-Уральской премии (Челябинск), обладатель ряда других региональных наград. Член Союза писателей России. Живет в селе Бердюжье Тюменской области.

Николай Ольков

ГИБЛОЕ ДЕЛО

Повесть

Ну и брызги же от тебя летят, Дарья Мартемьяновна, не поберегись — с ног до головы оплещешь.

— Не видишь, крыльцо домываю, скоро начальство придет, а у меня растворено-не замешано.

Дарья подоткнула подол застиранной юбки и, широко расставив ноги, спускалась по ступеням высокого конторского крыльца, выманивая за собой жирную октябрьскую грязь.

Она по голосу узнала Семена Федоровича, своего ровесника, и даже сердце екнуло. Сказала с деловой резкостью:

— А ты чего это с утра пораньше?

— К начальству вопрос, — уклончиво ответил ранний гость, тщательно уминая во влажную землю тощий окурок.

Дарья выпрямилась, отжимая тряпку, обернулась, у Семена, как всякий раз, душа замерла: не пожилую женщину, а крепенькую круглолицую белянку-красавицу, курносую, с кудряшками видел он перед собой

— Ты, верно, по большому делу, коли в хромовых сапогах и при шляпе. Шляпу-то зачем надел, сроду не видела тебя при шляпе.

Семен Федорович обиделся:

— Не смотришь в мою сторону, Мартемьяновна, вот и дивно тебе, что я приба-

рахлился. А я, шутки в сторону, всегда стараюсь быть при аккурате, стало бы тебе известно. Чтобы ваш брат, бабы, не чесали языки по моему поводу.

— Да ладно тебе, в обиду впал. Я ведь без злобы. — Она вытряхнула тряпку, отойдя чуть в сторону от Семена, выплеснула из ведра воду и подошла к гостю, вытирая озябшие руки подолом верхней юбки: — Как поживаешь, Семен Федорович? Авдоха твоя как здоровьем?

— Я ничего сам себя ощущаю, а Авдотья плоха, совсем гиблое дело. Дотянет до лютых морозов, потом всей деревней яму долбить придется.

— Христос с тобой! Такие речи!

— А я, Дарья, без сожаления, скорей бы. Детей нет, рыдать некому, сам для приличия слезу пущу, и опять вперед.

Дарья вздохнула.

— Ты проходить будешь или тут подождешь?

— Постояю, пусть просохнут плахи-то, а то наслежу, опять от тебя взысканье.

— Много я с тебя взыскивала.

Семен встрепенулся:

— А ты суммируй, какую жизнь я прошел, много чего получается после нашей разлуки, и все за твой счет.

Дарья вздохнула:

— Нашел время и место. Грех тебе при живой жене такие разговоры заводить. А вот и начальство идет.

Председатель колхоза Григорий Яковлевич Гурушкин в плаще и резиновых сапогах, но тоже при шляпе, громко поздоровался, омыл сапоги в большом корыте, глянул на Семена.

— Ты не ко мне ли, Семен Федорович?

— Ежели примите, благодарен буду, а нет времени на меня — дождусь парткома, тот обязан.

— Проходи, — сказал председатель, — парткома теперь до второго пришествия не будет.

— А что с Володимиром Тихоновичем?

— Ты телевизор смотришь?

— «Рабыню Изауру». Третий раз. Смотрю и плачу.

— Не о том слезы льешь, Семен Федорович. Разве не слышал, что советы распустили и партию прикрыли?

Гурушкин вздохнул:

— Ладно, пошли в кабинет.

Семен присел на краешек стульчика у стола, невысокого роста, чисто выбритый, сухой лицом и телом, не по годам подвижен и бодр.

— Григорий Яковлевич, ты мне скажи, как дальше будет деревня? Вчера, сам видал, дойных коров погрузили на скотовозы, колбасы, стало быть, захотелось новым князьям и боярам. И что дале? Коров прирежем, чем кормиться будем? Ты же вечный крестьянин, хоть и молодой, но ты же в понятия, что без скотины деревня пустой станет.

Гурушкин размял сигарету, затянулся, разогнал клубы дыма рукой.

— Спросил бы что попроще, Семен Федорович, к примеру, дровишек или тесу крамленого.

Гость аж привстал на стуле:

— Ты мне про тес не намекай, сам знаю, что два века не живут, тесины меня вторую пятилетку на чердаке дожидаются. Батьку твоего вон на сколь пережил, а он только на три годика и постаре. Я тебя сурьезно спра-

пываю, потому как не могу ума дать, что деется. Хлеб куда нынче дели? Молотили-молотили, через два дня пришел — скукуруикало зернышко, под метлу увезли. Терлись, сказывают, тут трое чернявеньких. Это не продзавертка ли возобновилась? Говорили, что в тех отрядах голубоглазых тоже немного было.

Григорий Яковлевич посмотрел в лицо этому пожилому человеку, давно пенсионеру, но понимающему колхоз, как родное существо, хотелось сказать ему все, о чем думал в эти дни, да и вообще весь год шел к этому вопросу: а что дальше? Даже в районе слова не давали сказать, в область вовсе не приглашали. Но неизбежность формулировать свое понимание снова пришла вместе с любознательным и беспокойным стариком.

— Дядь Сем, ты же видишь, что творится в стране. Оказывается, мы жили плохо, теперь все перестраивают, чтобы жилось лучше.

— Э-э-э, Гриша, такое я уж не пятый ли раз слышу на своем веку: сегодня плохо, потому что завтра должно быть хорошо. А ведь мы было зажили кучеряво: и зарплатешка выровнялась, и в магазинах кой-что стало появляться, мужики легковушек в кредит набрали. Это плохо, скажи, плохо?

Гурушкин промолчал.

Старик понимающе кивнул:

— Хотел картошку продать заезжим хачикам, но таперика воздержусь, а то в мировую систему меня на носилках придется заносить. Отходишков для поросенка у тебя нет, зерна для курей тоже не продашь, стало быть, из живности остается старуха и кот блудливый. Потому картошка незаменимый стратегический продукт, по всей расейской истории так, ежели шутки в сторону.

Семен думать любил, рассуждал сам с собой, иногда даже ссорился, да громко, так что было сомнение у народишка насчет дальности его ума. Сам Семен этим особо озабочен не был, до пенсии плотничал, топором играл, на спор сургуч с водочной бутылки на чурке одним его ударом срезал, но на народе больше молчал. Были в деревне несколько человек, с которыми он мог откровенничать безобязненно, с ними и отводил душу. Но иногда срывался и на народе, высказываясь притчами и намеками.

Вот как человеческая жизнь так извернется, что вроде и полгроба из задницы торчит, прости господи, а все равно, как не жил. Скоротечность и неуправляемость жизнью больше всего волновали Семена. Он сильно огорчился, когда пенсионную книжку получил, где написано было, что назначена пенсия Семену Федоровичу по старости. Он аж отпрянул: пошто по старости, не старик еще, кажись? Пошел в отдел кадров, попросил Фросю, чтобы поискала, может, есть книжки, где не старость записана, а, допустим, возраст. Фрося и говорить не стала: бумаги в райсобесе готовят, там и проси.

В район Сема не поехал, он района боялся еще с тех пор, как ездил хлопотать за друга своего Якова Матвейча, отца нынешнего председателя. Они на фронте шибко подружились, одной бомбой и ранило их при налете тяжелой авиации, только Сему контузило слегка, а Якова едва откачали, ногу отпилили и кое-что из внутренностей выбросили. Вернулся он в деревню совсем никакой, робить не может, а на пенсию документы где-то затерялись. Ну, и рванул Сема в район: в одном здании пошумел, в другом, из третьего его под белы руки увели в камеру, а утром отправили в город соседний, в специальную лечебницу, ну, дурдом, по-нашему.

Сема там только месяц и провел, но насмотрелся на всю жизнь. Какой-то доктор приехал, из умных, осмотрел Сему и заключение написал: в деревне рабочих рук не хватает, а тут здоровый мужик в калошах по двору ходит и кукишки воробьям показывает. Сему и отправили домой. Вместе с ним прибыло и народное подтверждение: точно, умом шшевеленный Семен, в дурдоме зря держать не будут.

Вот почему жизни нет простому русскому мужику? Вроде не шибко злоупотребляет, работать может, а все как-то впустую. Крепко занимала умишко эта проблема: почему плохо живет мужик в деревне? Сема вспоминал свою жизнь. Первую самостоятельную борозду на пашне под зорким оком отца, когда послушная Пегуха осторожно прошла гоны, и десяток крикливых грачей бросились на свежий пласт чернозема. Потом эту землю вместе с Пегухой сдали в колхоз. Семку тоже записали колхозником, и он снова пахал эту землю, но земля была уже чужая, Пегуха тоже колхозная, и грачи вроде как загрустили.

Пришла пора, собрался Семка жениться, за Дашкой втихаря ухлясть-тал, Мартемьяна Безбородихина дочкой. Дарья-то не особо старалась убежать, когда с вечорок шли, но баловства не допускала, так и сказала:

— За титьку словишь — голову отверну.

Семка знал, что так оно и будет в случае чего, потому жался к девке, как кот, щурился, да и она мурлыкала, — в общем, заговорил Семен о свадьбе. Отец сразу сказал, что Мартемьян Дарью в нашу семью не отдаст, но сын настаивал, и сватов собрали. И Чирку, маленькому говорливому мужичку, и Парамонихе, которая знала весь обряд сватанья, пообещал богатый магарыч. Пошли всей компанией, но Мартемьян с раннего вечера спустил по двору двух кобелей, пришлось стоять под воротами и кричать хозяев. Кто-то из домашних убрал собак, но настроение жениха совсем поухло: собак убрал, сам отлаиваться будет.

Мартемьян стоял посреди просторной избы, уперев руки в боки, по-улыбывался:

— В передний угол не приглашаю, незачем. Дарье порку уже устроил, чтобы блюла себя и следила, кто рядом трется. Мне с тобой, Федор, родниться нет нужды, ты и при новой власти все в тех же штанах, как при царизме. Не фартит тебе, и сын твой такой, с топором за поясом, как разбойник.

— Ты, Мартемьян Фадеич, семью мою не позорь, мы всегда жили честно и своим куском. Ты в сельпо подался, и слава Богу, а мы по колхозной части, там навар жиже. Только поперек их судьбы не становись, до добра это не доводит.

— Уж не пугать ли меня взялся? Увижу твоего трухлявого рядом с дочерью — запорю, не сам, найду доброжелающих. Все, порог знаете где. Савельевна, ставь ужин!

Через неделю Семка перехватил Дарьюшку темным вечером, никуда отец не выпустил, а тут, видно, нужда какая поджала, бегала девчонка в легкой шубейке к родственникам.

— Ой, испугал ты меня! Давай хоть от ворот отойдем, а то тятя услышит.

— Не бил он тебя?

— Нет, словесно. Пообещал в район выдать за дружка своего, торговый начальник какой-то.

— А ты?

— Я — что? Сказала, что не пойду, а он хохочет.

— Значит, отдаст. А я об тебе сохну, кусок поперек горла. Когда от-
правитесь-то собрались тебя?

— Не знаю, тут проговорился, что тому надо еще со старой женой раз-
вестись, да в райкоме все уладить.

— Даша, неужто ты согласишься?

— Ой, отстань, и так голова кругом. Все, побежала я. Поймай, я тебя
поцелую.

Она охватила его за шею, он распахнул полушубок, прижал ее, так
что сердечко слышно стало, и они неумело и сладко целовались. Обмяк-
нув, она выпросталась из его рук, запахнула шубейку и побежала к
дому.

Семен Федорович тот вечер всю жизнь помнил, и как зиму страшную
пережили, когда со дня на день грозился отец увезти дочь в район. Неве-
домо, какими путями все обошлось, сказывают, власти партийные силь-
но воспротивились, один чин так и сказал: «Кабы партийный билет раз-
решал, я бы каждый год баб менял, а то и чаще. Так что ты про молодую
жену забудь, а то все мы тут с ума посходим».

Семен Федорович как сейчас помнил, что встретились они с Дарьюш-
кой ранней весной в лесу, случайно, он жерди приехал на паре коней ру-
бить для колхозного загона, она березовый сок собирала.

— Ты не одна ли?

— Разве он отпустит? Брат со мной, да он сорок зорит.

И нацеловались же они в тот день — до одури. Березовка давно через
край бутылки течет, а Дарьюшка не видит, не хочет видеть. Брат два раза
окликнул, отозвалась тягучим голосом, и опять губы в губы.

— Ты чего несмелый такой, Сема, потискай меня, мне сладко, когда
ты мнешь.

— Ага, а сама придушить обещала.

Она хохотнула:

— Дурачок, когда это было. А теперь я створки тебе открою, если но-
чью придешь. Придешь?

— Приду. Сидни?

— Нет, дня через три, я дам знать, тятя уехать должен. Жди.

Дом Мартемьяна, доставшийся ему от отца, купца, державшего три
лавки, стоял в глубине сада из густых неухоженных зарослей черемухи,
акации и сирени. Поговаривали, что старый купчишка откупился от вла-
стей, а магазины свои передал в сельпо. Торговали сами, Мартемьян со
временем все к рукам прибрал, от мобилизации в Финскую войну при-
крылся грыжей, хотя пятипудовые кули с телеги прямо на амбарную эс-
такаду забрасывал. Месячную выручку всего сельпо у Мартемьяна разбой-
ники отобрали, его в район лошадь привезла едва живого, только Семен
сам слышал, прячась накануне за завозней и поджидая Дарьюшку, как
Мартемьян кричал приказчику Фиме:

— Бей прямо в лицо, чтоб синяки были, чего ты меня гладишь?!

— Боюсь, Мартемьян Фадеич, вдруг ты за обиду примешь?

— Вот дурак, сказано, для великого дела надо, бей, все стерплю, а не
то завтра же в военкомат сдам.

Позавидовал тогда Семка приказчику, уж он бы уговаривать не зас-
тавил. Дарьюшка прибежала напуганная, говорит, тятя зашел в дом и
скрылся в своей комнате, не велел даже чай подавать. Полезли они через
заросли к окошку, и видел Семка, как Мартемьян с разбитым лицом день-
ги пересчитывал и на три пачки делил, бормоча:

— Всех куплю, сволочей, а на фронт не дамся. Мне и тут в войну славно будет!

Дарьюшка в последнее время совсем с ума сходить начала, так и висла на Семке, а тот радовался и вздрагивал: вдруг кто застучает? Прямо сказать, Мартемьяна боялся.

— Убежим куда, Сема, везде люди живут.

— Куда я без бумаг, колхоз не отпустит, а так — посадят. Гиблое дело.
— Достукаешься, что выдаст меня за какого-нибудь полумотика, у него что ни друг, то жулик, и разговоров только про деньги. Завтра он уедет, как стемнеет, приходи к моему окну, я отворю. — Она прижалась к нему и шептала на ухо: — Увалень ты, Сема, и за что только люблю дурака? А отцу объявлю, что в положении, даже по деревне слух пуцу, покочевряжится и отдаст, никуда не денется. Все, побегла я, не дай бог, хватятся.

Ох, и долгий же был этот майский день, уж сил нет терпеть, а все никак не темнеет. Мать спросила:

— Ты чего маешься? Живот скрутило?

— Скрутило, мама, мочи нет.

— Не трись здесь, сходи за пригон, потужься.

Ушел совсем, в дальнем углу сада перелез через прясло, дарьюшкино окно увидел, створки настежь, облапал кряжистую черемуху, подтянулся, на сучок встал, до окна два шага всего. И тут как будто сучок треснул, и кто-то сильно лопатой плашмя ударил его по заднице. Когда уже бежал переулком, проскочив изгородь, понял, что стреляли в него, во как! Затаился, пощупал задницу — мокро, лизнул — кровь, а зуд такой, хоть волком вой. Докондыбал до Прони Бастеньего, вроде как дружок, про Дарьюшку все знал, кое-как растаскал его на сеновале, рассказал. Пошли в баню. Поставив Семку задом кверху, Проня, осветил рану и захихикал.

— Семка, это тебе солью врезали, моли бога, что на четверть в сторону, а то бы и в окошки к девкам лазить нужды не стало.

— Ты не ржи, чего делать-то?

— Я так морокую, что отмокать тебе придется. Пошли на речку.

Вода была теплая, но Семку бил озноб, Проня заставлял растирать рану, чтобы соль вымывалась. Уже светать начало, когда Семка притащился домой. Несколько дней на работу не ходил, ничего, затянуло, как на собаке.

Поздним вечером Проня стукнул в окно и позвал Семку.

— Чего тебе?

— Выйди, дело есть.

Вышел. В тени ворот стояла Даша. Пронька махнул рукой и скрылся.

— Сема, это приказчик Фимка подслушал наш разговор и с ружьем сидел напротив окна. Сильно он тебя?

— Сойдет. Тебе небось тоже попало?

— Нет, тятя веселый ходит, не иначе, задумал что-то. Ох, Сема, не хочу я ни за кого, а ты все медлишься. Бежать надо, здесь уйди я к тебе — убьет отец, я эту породу знаю. Того же Фимку наймет. Убежим, а? — Она положила голову ему на грудь.

Семен покачал головой:

— Некуда бежать, Даша. Гиблое дело.

Она неловко отпрянула от него, вздохнула тяжело, по-бабьи:

— Значит, нет в тебе жалости ко мне совсем, ты почто не ценишь, что в постелю свою позвала тебя, не мужа еще? До субботы жду, не решишь-

ся бежать — не подходи больше, я потом хоть за дьявола пойду, мне все едино.

И она быстрым шагом растворилась в темноте.

По теперешнему стариковскому разумению понимал Сема так, что убоился тогда Дарьюшку выкрасть и тайком увезти, то ли батюшки ее испугался, то ли перемен жить в других краях, а это надо было не иначе, как в город. А кто он в городе? Так себе, пятое колесо. Ни разу в городе не бывал — куда бечь?

И три дня, оговоренные Дарьюшкой, прошли, и неделя, и месяц — не появляется она нигде, но речей нет, что в замуж увезли. Ретивое ноет, а ума не хватает. Приходит как-то дружок Проня Бастенький, зубоскалит:

— Дарью в лавке встретил, велено тебе к ихней задней калитке после управы подойти. Ты бы на всякой случай задницу дощечкой прикрыл.

Пришел пораньше, притаился, как бы опять на приказчика не нарваться, увидел, что сама бежит, сердце в пляс пустилось. Обняла его, целует, а у самой слезы:

— Ничего не решил, Сема? Ах, пожалеешь, да поздно будет для обоих. Вот, слушай, он опять кого-то мне нашел, свирепый стал, я как-то про нас с тобой заикнулась — чуть не ударил. Деньги ему глаза застилают, да и только. Так вот, слушай. Чтобы он чего не удумал, я в подпол полезу, как за картошкой, и с лесенки упаду, понарошку, а орать буду во всю правду. Пусть любых фельдшеров везет, иначе чем на излом ноги не соглашусь. Месяц просижу, а ты, Сема, поедешь в город, договорись тут с бригадиром, пока сенокос не начался, съезди и все разузнай. Я вот тебе денег на дорогу принесла. Сема, славный мой! — Она припала к нему и дрожала вся. — Поезжай и все разузнай про работу и про жилье, говорят, там есть такие дома, где общаком живут.

— Это как?

— Ну, в большом доме у каждого свой угол. Ой, да господи, нам и хватит!

— Отец прибьет обоих.

— Не прибьет! Я ему записку оставлю про мордобой нарошнешный и про три кучки денег. Убоится! Все, убегаю, хватятся.

С утра и до позднего вечера добирался Семен до города, заночевал в какой-то пекарне, у девчонок рабочих выпросился, тут же и про работу узнал, про жилье.

Девчонки советовали:

— Коли специальности нет, лучше стройки ничего не придумать, будешь подсобником, тяжело и тариф слабый, зато койку в общежитии дадут.

— А я с женой...

— Могут и комнату дать, только навряд ли.

— Мы и не расписаны еще в сельсовете.

Девчонки смеются:

— Таких жен отдельно селят.

Утром нашел строительную контору, наскочил на прораба, тот сказал, что хоть завтра выходи на работу. В конторе койку пообещали и Даше тоже в женской половине.

Домой вернулся измученный и беспомощный, так и не пристал ни к какому берегу. Услышал, что Дарья ногу повредила, в глине замотана, дома сидит. А на улице выйдет — что ей сказать?

24 июня в размашистые луга Лебкасного лога и Коровьей Пады приехала на дрожках секретарь сельсовета Хроменькая Надя, сразу подтянулись мужики и парни, а она под расписку отдавала повестки. Все молчали. Молодежь хотела сразу сорваться домой, потому что отправка уже завтра, но бригадир приструнил:

— Надо сенишко дOMETATЬ...

Пришлось робить, только Наде наказали, чтобы по всей деревне бани топили, мобилизованных напослeдoк попарить.

Семка слегка обмылся, окатился холодной водой и вышел на воздух. Вечер мирный, небо в звездах, ни ветерка. Поднялся наверх от бани, она у них на задах огорода, подошел к пряслу, а Даша стоит в платочке, в платьишке ситцевом, вся воздушная, родная, так и прыгнула к нему на руки:

— Сеня, миленький ты мой, вот и выбор наш кончился. Ты скажи своим, чтоб не теряли, а я тебя в вашем сеновальчике ждать буду.

Коротка июньская ночь, для долгожданной любви коротка, для военной разлуки.

Даша так и не выпускала Сему из объятий:

— Родной мой, единственный, муж вечный, пентюх ты битюковый, отчего девчонка должна все за тебя решать? Не приди я, так и не насмеллся бы. Я тебя ждать стану, ты возвратишься скоро, там же недолго, я в газете читала. А я тебе потом ребятишек нарожаю, целую кучу, таких же тихонь да скромненьких.

— Выдаст он тебя.

— Теперь не выдаст, прикинусь беременной, я же по-всякому умею.

— Иди надо, Дашенька.

— Пойдем. Сейчас он меня встретит.

Она обняла его и крепко-крепко в губы поцеловала, он даже сойкал, пригнулась к самому лицу, посмотрела на свою работу, довольная собой:

— Засос тебе поставила, чтобы все видели, что провожала тебя на фронт горячая девка, теперь уж баба твоя.

Вокруг зазвенели подошники, заспанные хозяйки толкали лениво жующих коров. Начинался очередной крестьянский день.

В глухих урманных местах спрятались три деревни, сказывали, не то пугачевские, не то разинские недобитые казачки сюда утянулись с Урала, баб по пути понабрали да и обосновались. Леса богатящие, низины травой зарастают — литовку не протащить, а подлески да поляны распыхали, рожь дуром дурит, перепелки выпорхнуть не могут, пешком выйдут, колос с ладони свешивается.

Все это Сема знал от стариков, всегда интересовался прежней жизнью, когда своя не особо удалась. Будь пограмотней, записал бы, в потомство пустил, а так только сам и знал, да иногда рассказывал вместо баек.

Про колхоз его рассказ записал какой-то заезжий писака, три дня бражку пили у Семена, записал и рассказ вставил в книжку, когда советской власти не стало и распечатывали всякую чушь. Книжку ту он хранил и всякий раз показывал свой рассказ, хотя очевидцы свидетельствуют, много всего Семка прибавил или писатель от себя тиснул? Но Сему это не смущало: история тем и интересна, что каждый ее может дополнить, если ума хватает.

«У нашего колхоза биография богатая, как у Володи-Тюрьмы, которого посадили еще ребенком, и за неполные пятьдесят он сроков получил

в два раза больше, отсидел частично, зато в короткие передышки между посадками хвастал, как много он повидал. Бабы вздыхали, а ребятишки пучили глаза от восхищения и зависти.

Колхозы в наших краях создавали зимой тридцатого года, а наш оборвался за одну ночь без предварительной проработки и подготовки, и это повергло в смятение районных начальников. Все понимали, что разовый успех наверху могут истолковать как результат системной и продуманной массовой политической разъяснительной работы, и никто не мог быть гарантирован, что завтра не заставят повсеместно поднять этот уровень и добиться единодушного и молниеносного вступления в колхозы всех граждан. А было много деревень, где единоличники заняли молчаливую оборону, поддакивали линии партии, но заявлений не писали.

Нашей деревне повезло в том смысле, что всегда у нас было полно мужиков с хорошо подвешенными языками, которые они не утруждали себя держать за зубами, и считали меткое слово не меньшей заслугой, чем добрый приплод в хозяйстве или хороший хлеб в закромах.

На собрание по поводу новой колхозной жизни в середине дня приехал к нам из уезда суровый человек в кожанке, правда, без нагана, хотя наган, сказывал сельсоветский кучер по прозвищу Кнут, у него был и лежал в «голенище», по-городски — в портфеле, в гороховой тряпице. Уполномоченный начал с положения в партии и прошел через все революции, включая поверженный женский батальон, охранявший последний бастион мировой буржуазии — Зимний дворец. Уполномоченный, явно не наших мест, громовым голосом картаво говорил о всемогущем лозунге «Земля — крестьянам!», который наши мужики понять не могли, потому что земля в Сибири и есть у крестьян, у кого же ей еще быть? Даже председатель сельсовета Никитка Щинников пахал и сеял. Про помещиков и капиталистов, которые безотрывно пили кровь из эксплуатируемого крестьянства, у нас не слыхали, и живыми этих кровососов никто не видел. Хотя в соседней деревне маркитант Феофан, когда колол свиней или другой скот, просил у хозяйки чистую кружку, нацеживал из раны свежей горячей крови и, перекрестившись, выпивал, вытирая тряпичей сгустки спекшейся крови с бороды и с губ.

Когда уполномоченный сказал про линию партии, и что она в данный исторический момент пролегла именно по нашей деревне, стало мужикам как-то не по себе, но в ответ на вопрос Никитки «Кто за колхоз?» дружно промолчали.

Тогда уполномоченный заговорил о кулаках и подкулачниках, о текущем политическом моменте и о голодающих детях какой-то эксплуатируемой страны, имени которой никто в деревне до этого не слыхал, но, утверждал уполномоченный, дети там голодают только потому, что мы в своей деревне не желаем им помочь. Детишек было шибко жалко, некоторые бабы даже всплакнули, но для мужиков все равно было непонятно, и потому голосовать никто не стал.

Вот в это самое время, когда в президиумном застолье окончательно разыгралась растерянность и уполномоченный похлопал по голенищу, наверно, проверяя, там ли наган, в это время к столу подошел Филя Задворнов. Он к советской власти никак не относился, но налоги платил исправно, приговаривал, что всякая власть от Бога, хотя в церковь ходил не чаще, чем в сельсовет. Он почитывал книжки и даже выписывал какие-то журнальчики про землю и про скотину.

Филя поклонился в сторону народа и произнес:

— Гражданин уполномоченный человек сурьезный, я и в газетах читал, что колхозы — штука прочная и надолго, потому вступать все равно придется, а чтоб время не терять, прошу вспомнить про Нюрку, что на Заговенье отдавали за Ваньку Федора Евсеевича.

Когда все дружно, под веселый хохот и отчаянное улюлюканье подняли за колхоз руки, Никитка, чтобы не испортить момента, сам неудержимо хохоча, еще раз окинул орлиным оком большую школьную комнату, подвел итог:

— Записываю всех, так и отметим в протоколе, а заявления оформим завтра.

Только уполномоченный ничего не понял и угрюмо сидел за столом. Его революционное самолюбие было заметно ущемлено: будучи подпольщиком до революции, тянул каторгу на рудниках, откуда был сразу произведен в члены ревкома и наделен полномочиями комиссара ревполка. Он словом гнал людей на смерть и победу, дважды ранен, на съезде Советов с самим Лениным встречался, тут три часа речь держал, а аргументы какой-то Нюрки оказались и проще, и убедительней.

Наверно, за ужином Никитка расскажет ему, что в канун поста выдавали замуж простую девку Нюрку, и прямо на свадьбе, когда уже застолье подходило к концу, спрашивает перепуганная невеста у матери своей, как ей с женихом ложиться. Мать, женщина строгая, но справедливая, резанула во весь голос: «Ой, Нюрка, как ни ложись, все равно ухайдокат!» Скажи бы она тихонько, может, этим и обошлось, но совет слышали все и потом долго обсуждали, хотя все по собственному опыту знали, что так оно и есть.

Филька Задворнов, кажется, вовремя вспомнил о Нюркином вопросе и машином заверении в неотвратимости счастья семейной жизни.

Потом у нас был колхоз и очень много председателей. Их привозили районные представители в маленьких плетеных кошевках, потому что собрания проводили сразу после Нового года, стараясь не угадать под Рождество, и, хотя церковь в нашем селе ликвидировали еще до коллективизации, в правлении опасались за явку по причине пьянки. Бывало, что председателя до окончания полномочий райком убирал после особенно ущербной зимовки скота или сразу после первого снега, который, оказывается, помешал успешно завершить уборочную кампанию. Снимал и ставил председателей райком, но почему-то требовалось наше поголовное голосование.

Привезенный обычно тихо сидел в президиуме с краешка стола и пугливо озирался, после собрания счетовод Крысантий Спиридонович торжественно вручал ему колхозную печать. С утра новый председатель начинал робко раздавать наряды, бригадиры тоже предусмотрительно помалкивали, но эти были из местных, они всех колхозников знали по именам, и в такое смутное время старались от коллектива не отрываться.

Что же касается Крысантия, то имечком его наградил крепко обиженный поп, который перед самым крещением младенца пришел в дом родителей новорожденного, чтобы получить необходимые подношения. Папаша, надо полагать, был человек прижимистый, на глазах священника вынес полную пудовку муки и ловко опрокинул в санный ящик. Поп все-таки успел заметить, что пудовка наполнена мукой со стороны доньшка по ободок, муки там фунтов пять, не больше, но промолчал, а на крещении посмотрел в святцы и нарек младенца Крысантием. Против попа не попрешь, так и остался парень с диковинным именем.

Перед самой войной, примерно за год, очередного председателя не в своей кошевке увезли в район в сопровождении двух милиционеров. Толи чего где не досдал, толи брякнул по неосмотрительности. Из района приехал один представитель, без подкидыша, вышел вперед стола, привычно расправил под ремнем гимнастерку и громко сказал:

— Райком решил вам, товарищи колхозники, дать право самим выдвинуть председателя колхоза, и потому рекомендует на эту должность хорошо вам всем известного старшего чабана члена партии товарища Ерохина.

Ерохин, или по-деревенскому Ероха, ничем выдающимся знаменит не был, даже чабаном работал как бы по неполноценности, — работа эта нетяжелая, бабья, но детей имел много. Любил говорить при случае: «Мы, партийные...» Правда, внимания на это никто не обращал. Так и жил Ероха, пока какому-то райкомовскому хлыщу не попала на глаза папка с его данными. И оказалось, что всеми статьями тянет Ероха на председателя: из крестьян — беднее не бывает, линию партии блюдет, краткий курс истории ВКП(б) прошел и согласен. Грамотешки маловато, если не сказать, что совсем нет, потому как младшую группу он окончил, а в среднюю отец не пустил, потому что по хозяйству работать надо, а чтобы Ероха не ревел, шепнул ему, что в средней группе ребятишек будут кастрировать. Но в райкоме об этом не знали, конечно.

За Ероху проголосовали, никто слова против не сказал. Сам Ероха был напуган поболее привозных, но против райкома возразить побоялся. Руководил он обреченно, как овец пас. В правление ходил, как на принудилковку, но в райкомовские поездки снимал свои скосопяченные пимы с натянутыми на них литыми резиновыми галошами. Наш деревенский толковый мужик Алеша Крутожопенький всю округу снабдил такими литыми калошами. Штука эта в хозяйстве крайне необходимая, без заказов Алеша не жил, резину поставлял ему свояк с промышленного Урала. И весной, чтобы ловчее было ходить на ферму, председатель тоже заказал калоши на белые чесаные валенки. Алеша снял мерку, и через неделю, с усилием натянув изделие на чесанки, лихо поставил перед заказчиком: носи на здоровье!

Чтобы гладкая резина не скользила по твердому снегу, Алеша выливал на подошве поперечные полоски. И председателю тоже отлил, но так ловко, стервец, изловчился, что большая председательская калоша оставляла на снегу четкую печать: «Ероха». Дня два, наверно, никто ничего не замечал, а потом всех словно разорвало, хохот в деревне стоял, как на вечеринках в старые годы, когда кто-то ловко гасил лампу и парни щупали девок ко всеобщему восторгу.

Ероха сразу велел заложить выездного жеребца и махнул в район. Говорят, он так эшло все обсказал, что с ним согласились. Сейчас, говорят, колхоз на коленях стоит, вы же не хотите, товарищи партийные, чтобы его вовсе на брюхо положил? Этого товарищи не хотели. Поговаривали, что главную причину, калоши со штампом, оставили в районе как вещественность, но это наветы, калоши видели потом на Ерохе, когда он опять стал ходить за овечками, только печать с них была уже срезана.

После войны, уже в 1946 году, председателем избрали нашего деревенского, Кешу, который на фронт ушел молодым парнем, а вернулся майором и с молодой городской женой. Звали его уже Иннокентием Алексеевичем. Офицерскую форму он, наверно, с год не снимал, только погоны отстегнул. Дела в колхозе, знамо, послевоенные, еще год назад дядя

его по материнской линии склад не сумел ревизии показать, так чуть под указ не попал, ладно, самогонкой тогда три дня всю бригаду употчевал, а то бы загремел. При Иннокентии народ отпил. Трактором самолично давил самогонные аппараты под плач и материки односельчан, все бочонки и фляги из-под браги конфисковал на общественные потребности, бабы на ферме кипятком с крапивой и смородинными молодыми ветками не могли сивушный дух вышпарить.

Зато построили клуб и новую школу, мост через Ишим прокинули, на отчетных собраниях председателя ругали нещадно, но избирали заново, а когда Иннокентия хотели забрать в райком, весь колхоз два дня на работу не выходил, правда, это в сенокос было, в аккурат задождило чуть-чуть, так что все кстати, но бучу тогда большую подняли. Пришлось вечером собрание собирать и объявлять людям: «Никуда, мол, я не поеду, жните, что посеяли, чтобы вас жабилло...»

«Чтобы вас жабилло!» — это было его самое большое ругательство.

Когда борьба с целиной нагрелась, у нас тоже много чего распахивали. Не все, правда, в пользу пошло, но поболе, чем у соседей. Выгоны и сенокосы вечные Иннокентий пахать не стал, а вместо этого нашел такие пустошки в первых лесках, что перекрыл все планы и хлеба завез на элеватор столько, что заведующий возмутился: не вози больше, буртовать некуда!

Потом прошел слух, что за целину будут давать ордена и медали и что нашему Иннокентию привезут геройскую звезду. Наверно, так и должно было быть, только сразу после уборки Иннокентий выдал колхозникам на трудодни зерна столько, что во дворах мешков не хватило, и золотую нашу пашеничку вываливали из грузовиков прямо на чисто выметенные ограды. Такая благодать была не везде, соседи стали пенять своим председателям, те пожаловались в райком, и Иннокентия даже вызывали, подвели под него статью, что он, де, идя на поводу и потворствуя частнособственническим интересам своих колхозников, действует в ущерб общегосударственной политике советской власти в деле колхозного руководства. Напрасно доказывал Иннокентий, что перед государством он все выполнил, что колхозник тоже человек, он жрать хочет. Секретарь райкома, видать, хороший был человек, он прямо сказал Иннокентию, в чем дело: в других колхозах все под Госплан выгребли, так что дать придется на трудодень только чтобы концы с концами... Сказал также, что Звезда Иннокентию теперь уже не светит, обком отдаст ее другому руководителю. В общем, Иннокентия с колхоза убрали, двое суток с перерывами на еду и сон шло собрание, пока не встал секретарь райкома:

— Вы что, хотите своего председателя в тюрьму посадить? Ему же за этот хлеб авансом по трудодням срок полагается. Снимем с колхоза, доложим, что наказан. Не отдадите — силой заберут, ему же хуже. Подумайте.

Думать тут нечего. Мирона Чудинова привезли к нам из соседнего колхоза вроде как на повышение. Грамота у него небольшая, четыре школьных класса да курсы руководящих работников, но работу крестьянскую знал, дела наши шли неплохо. Мирона избирали в партийный орган и в депутаты, но всякий раз все заметнее стали спотыкаться о графу образование. На партийной конференции, когда мандатная комиссия докладывала о достоинствах делегатов, было отмечено, что с начальным образованием — один, и все знали, что это наш Мирон.

Обиженный Чудинов пришел к первому секретарю и слезно попросил:

— Впишите мне хоть семилетку, ведь за эти годы я столько курсов прошел!

Ничего ему вписывать не стали, а скоро всех малограмотных округли и отнесли к категории «неполное среднее образование». Тут наш Мирон ожил. Председатель всегда оставлял за собой последнее слово, будь то на заседании правления, на колхозном совещании или на партийном собрании. Чаще всего разговоры и тут вели о производстве, так что Мирон был в своей стихии.

Но однажды случилось страшное. На обсуждение общего партийного собрания колхоза вынесли вопрос о воспитании молодого поколения. Пригласили учителей, весь беспартийный актив, секретарь парткома сделал доклад. Выступили комсомольцы и культработники, директор школы и фельдшер участковой больницы. Мирон вышел к трибуне в самом конце собрания, привычно прошелся по сводкам и врезал осеменатору за плохую случку коров, поговорил о предстоящем севе, об угрозе ящура, — только что пришла телефонограмма из района, потом наклонился к парторгу:

— Об чем собрание?

— О воспитании молодежи, Мирон Федорович!

— Да, мы сейчас обсуждает трудный вопрос об молодежи и куда с ней деваться. Конечно, ее надо воспитывать, как учит партия и правительство. Только как ее воспитывать, вот в чем вопрос! Я вот иду на собрание, уже потемочки, а Варвары Филипповны сынок, сломок господень, стоит на клубном крыльце, вывалил его через перила и дует!..

Собрание разделяло основные положения речи председателя, выслушало ее со вниманием и проводило Мирона аплодисментами. Еще не ведая, что навсегда...

Семен любовался Гришкой, дорогим своим человеком: и до чего красив, весь в отца — высокий да стройный, лицом строг, а натурой добрый, улыбнется — рубаху с него сними, отдаст. До чего жалко было Семе сына дружка своего Якова, первенца для обоих, бездетный Семен прибегал вечерами повозкаться с крепышом, на ножке качал, возил на корчажках, бывало, нечаянно обмочит заигравшийся Гришка... «Обабком мы его звали, точно», — вспомнил Семен и вздохнул. Обабок — толстенький гриб, упругий, просто так не сшибешь, ходил чем-то парнишка на лесную дивность.

Это за ним с детства такой недостаток — вступать в споры, свое чувство отстаивать. Был случай, уличил он мошенство парня одного, повзрослей его будет, когда в картишки баловались. Тот в морду:

— Признайся, что соврал.

А наш кровавую юшку сплевывает и свое:

— Нет, видел, как ты подменил картинку!

Еще в морду. Не помогает. Отобрали мальчонку, отец перво-наперво высыпал за картишки, а потом спрашивает:

— Ну, чего тебе стоило согласиться, мол, ошибся.

А тот разбитым носом хлюпает и упрямится:

— Не бывать такому, а обмана в жисть не потерплю.

А в юности как он резко поступил, когда власти разрешили парням, которые по институтам учатся, в армии не служить до получения дипломов. Учиться поступил заочно, потому как безотцовщина, концы с концами, но как узнал, что от армии отсрочка, пришел в военкомат:

— Забирайте, я же не бракованный какой-нибудь, а то ославят на всю деревню, ни одна девка не подпустит.

Ну, чисто папа родимый, царство небесное! Тот тоже в сорок первом в комиссариате в грудь стучал, партбилетом размахивал:

— Никакой брони не признаю! На фронте отечественная судьба решается, а тут бабы и без меня трактора заведут.

Достукался...

Институт Гришка окончил уже после армии, механиком побыл, инженером, в партию вступил. Сема, конечно, человек сугубо беспартийный, но попросился у парторга Володимира Тихоновича поприсутствовать в уголке, когда Гришу принимали, тот разрешил, но с уговором, что Сема вести себя будет тихо и речей говорить не станет. И чего они его так терзали: и про китайских коммунистов, и про кубинских, и про мировой империализм. Так и подмывало Семку вскочить и воскликнуть:

— Да что это вы над чистой душой измываетесь, на нем пятнышка нет, не токмо греха!

Но — устоял, посовестился, зато потом все дочиста Володимиру Тихоновичу выпенял. А тот лыбится:

— У нас в партии процедура такая, каждого обсудить, вывернуть, чтоб ошибки не сделать.

Григорий главным инженером стал, а натура простая, и народ к нему запросто. А тут председателя переводят, и вроде бы все к тому, что Григорию Яковлевичу председателем быть, но чин какой-то в районе заартачился, не дает пропуску. Вот тогда Сема снова пошел к парторгу:

— Ты пошто своих членов в обиду сдаешь? Намекивают нам со стороны человека, разу в наших краях не бывал, местов не знат, людей тоже. Какой он будет хозяин первые три года? Пропадем совсем! Вот тебе мой сказ: ехай в район и ставь вопрос на ребро, что есть у нас свой председатель, готовый, Гришка, то есть.

Возмело! Побывал парторг в райкоме, знать, уважал его тогдашний секретарь, теперь уж покойный, земля ему пухом, потому что в царствие небесное партийных едва ли пуцают.

Избрали Григория Яковлевича, и как будто ничего не изменилось, так же пахали и сеяли, так же бабы коров доили, скотники быков выпасали — ан нет, другая сделалась политика. Какие-то хитрые расчеты делал он со своей конторой, договора заключал с бригадами и фермами, по концу года премияльные выплачивал такие, что люди получать поначалу пужались.

Семен давненько уж заметил, что как только народишко в деревне чуть зарозовеет, взвеселится, шти у него погуще станут — сразу органы интересуются: «Откуда, не от любимого ли государства отщипнули?» Каждый месяц приезжали, бумаги листали, Сема тогда уж на пенсии был, целыми днями у конторы просиживал, все боялся, что проморгает, увезут Гришку, и рукой не махнешь. Нет, каждый раз уезжали без залога, Гриша выходил из конторы последним, одними глазами благодарил деда за поддержку и шел домой.

А женился он как! Гришка еще в механиках ходил, и приехала в деревню молодая учительница после института, Сема ее сам и привез из района в своем ходочке на справном мерине Карьке. Девчонку на квартиру поставили к Павловне, у нее в доме горенка была с отдельным ходом, всегда в ней кто-то жил, то агроном молодой, то медичка.

Гриша Настеньку-то первый раз в клубе увидел, в кино она пришла, «Свинарку и пастуха» показывали. Гриша как увидел учительницу, так и сомлел, знамо дело, не у одного Григория в тот вечер ноги ослабли. Конечно, ни свинарки, ни пастуха он не видел, все в ее сторону смотрел, от

экрана лицо ее хорошо освещалось, правда, мужики из заднего ряда пару раз ему голову на место ставили. После фильма целый спектакль получился, Настенька идет по коридору, а парни по обе стороны по стойке смирно стоят. Конечно, при таком стечении никто не насмелился в прожогатые, да и Гришка в толпе дурачком просопел.

На Новый год надо было для установки на школьном дворе большую елку привезти, Гриша сам поехал с трактористом, высоченную да кучерявую красавицу свалили, правда, сосну, ели в наших местах не водятся. Привезли в школу, Гриша высочил, посмотреть, где надо ставить, а Настенька явилась перед ним, раскрасневшаяся на морозе, белые кудри с заячьей шапкой смешались, улыбается:

— Вот тут ставьте, мы с ребятами вокруг фигурок из снега наклепим, сказка получится.

Гришку как заклинило, ни слова ответить не может и трактористу ничего не говорит. Тут Настенька и взяла все в свои рученьки, трактористу машет:

— Сюда подъезжай! — Крановщику на глубокую яму показывает: — Тут надо установить.

Тогда и Гриша оживился, лопату схватил, давай снег вокруг дерева трамбовать, в колодец за водой сбегал, чтобы елку надежней вморозить. И в этот момент подошла к нему Настенька, поблагодарила, пригласила на открытие снежного городка.

— И на новогодний бал в школу приходите, вы же не чужой, учились здесь.

— Приду, обязательно приду! — заорал Гриша, перекрывая рев трактора.

На этом вечере и обраковались они, домой ее проводил, с тех пор в клубе уже никто не прилипал к ней. После Пасхи свадьбу сделали, это Сема настоял, чтобы Великий Пост перетерпели, нельзя в такое время свадьбы играть. Сема на том пиршестве на месте отца сидел. Гордился...

О наркотиках Гурушкин слышал и раньше, но все это было где-то далеко, в больших городах, по крайней мере, не в его глухомани. В кругу знакомых иногда обсуждали, как может государство допустить до такого, что зелье продается почти в открытую, потом дружно махали рукой, как и на все остальные проблемы: никому ничего не надо, каждый думает о своем.

По дороге из райцентра спросил шофера Ивана, молодого парня, только что из армии:

— У нас в деревне наркотой не балуются, ничего не слышал?

— Григорий Яковлевич, вы от жизни отстаеете, уже не баловство, а на полном серьезе, с десятков парней и девчонок точно на игле сидят, это кроме травки, дело как бы безобидное.

— Из Казахстана везут?

— Оттуда. Я на прошлой неделе, помните, машину просил на охоту, так нас со Славкой на лесной дорожке за Сивиргой-озером «Урал» чуть не раздавил, кое-как успел меж березок проскочить.

— С чего ты взял, что он хотел сбить тебя?

Иван хмыкнул:

— Если руль вывернул и колеса со свистом...

— Почему мне ничего не сказал?

Иван пожал плечами:

— У вас и без этого проблем хватает, а я утром позвонил в милицию и заместителю, помните, участковым у нас был, все рассказал, номер машины назвал. Он минутку помолчал, потом посоветовал об этом инциденте раз и навсегда забыть и никому не рассказывать.

Гурушкин возмутился:

— Ему этот номер известен, я правильно понимаю? Машина регулярно ходит к нам из Казахстана, возит отраву, и об этом знает милиция? Почему «Урал», ведь заметная машина?

Иван уж и не рад был, что рассказал, но знал, что теперь шеф вынет из него все.

— В кузове может быть всякая дрянь для отмазки, а наркота в дипломате. Вы заметили, какие особняки выстроили торгаши в райцентре, какие машины гоняют? На торговле карамельками такие бабки не сделать. Через них идет торговля мелким оптом, по деревням развозят, тут уже розница. И у нас тоже есть притоны, да не один.

Гурушкин попросил подвернуть к медпункту. С тех пор, как открыли по линии оптимизации бюджетных расходов участковую больницу, которую он построил на втором году своей работы председателем, остался фельдшерский пункт, в нем фельдшер, по-деревенски — «медичка».

— Зина, тебе что-нибудь известно про наркотики в наших местах?

— Точно ничего не могу сказать, Григорий Яковлевич, но шприцы у меня покупают. Значит, колются.

— А в районе ты об этом говорила?

— Все говорят, но без толку, дали вон рулон плакатов.

— Так! Кто покупает, конкретно?

— Конкретно? Ромка Корчагин вчера десяток штук взял.

— Ромка? Гавриила Корчагина сын? Так он же еще школьник!

Зина грустно улыбнулась:

— Григорий Яковлевич, но других же у нас нет.

— Вот и я думаю...

— Они в школе собираются, если купить не на что, сами зелье варят.

— Ладно, спасибо за информацию.

Оставил Ивана около дома и поехал в тракторные мастерские, нашел Корчагина, поздоровался. Ровесник, вместе в школе учились, Ганя с детства любил с железом повозиться, так в мастерских и остался, местным Кулибиным стал. Не гляди, что работа грязная, он всегда как на демонстрацию одет, волосы под вязаной шапочкой собраны, голубые глаза ни от какого мазута не помутнели.

— Что ты так подозрительно на меня смотришь, Григорий Яковлевич?

— Айда в машину, поговорить надо.

Сели. Гурушкин не знал, как начать, Гавриил опередил, тяжело сказал:

— Ты не насчет Ромки молчишь?

— Только что узнал. Давно с ним такое?

— С весны. На соревнования они ездили в район, там спонсор, торгашка, да ты ее знаешь, она все сельповские магазины скупила, устроила прием для победителей. Там и попробовали зелья, трое наших было. Все сейчас в одной поре. Когда заметил, и к знахарям возил, и в областной диспансер — только деньги рвут, а толку никакого. Две недели терпит — и срывается.

— Берет где и на что, не следил?

— У Хасана, который автомастерскую держит, ты видел, какой коттедж он отгрохал? Там сплошь чучмеки, я заходил, они хыр-хыр между собой, для вида пара жигулей разобрана. Говорить со мной не стал. Я еще не отошел и ста метров, как к нему начальник милиции подъехал, чуть из кабины не выпал, так торопился дающую руку пожать. А мои дела совсем плохи, Ромка вчера телевизор вынес.

Помолчали. Гурушкин спросил:

— Что делать будем, нельзя же так вот сидеть и ждать... неизвестно чего.

— Не знаю, Григорий, а я круг черный вокруг себя уже давно вижу. Вот так и кончат нас потихоньку... Ладно, пойду я, надо муфту собрать, да домой, какой он сегодня?

— Подожди, Гавриил, как там мужики, пьянки нет?

Корчагин безнадежно махнул рукой и ушел, Гурушкин следом пошел в цех. Вокруг лежащего на боку старого шкафа сидели несколько мужиков, на фанере стаканы, куски хлеба, сало. Все немного хмельные, начальству не обрадовались, но и не испугались.

— Не ругайся, Григорий Яковлевич, уже конец рабочего дня.

— Да это бы ладно, только, судя по физиономиям, не первый день в колее. На что пьете, ведь деньгами уж не помню, когда рассчитывали, все то мука, то сахар?

Один из слесарей, из-за малого роста прозванный Шкалик, вынул из пространства между стеной и шкафом пару пустых пузырьков:

— Вот, пожалуйста, лучше любых коньяков, а стоит — раз плюнуть. Один пузырек на пол-литра воды, и всем хорошо.

Гурушкин взял пузырек, пробежал глазами по этикетке: композиция, для наружного применения, на основе технического спирта.

— Вас травят, ребята, неужели не ясно? Через год мужика в себе не найдете, а через два ослепнете.

Шкалик возмутился:

— Не надо пугать, товарищ начальник, это государство выпускает для тех несчастных мужиков, которых руководство не обеспечивает зарплатой.

— Ладно, спорить не о чем. В цехе больше не пить, я приказы писать не люблю, но подход найду, вы знаете. А гадость эту забудьте, гробят нашего брата сознательно, а мы как кролики в пасть удаву...

Гурушкин из кабинета позвонил главе района Котову, хотя предполагал, что тот не захочет вмешиваться в столь сложное дело: характер не тот.

— Сергей Лукич, не думаю, что только у нас такая беда, может, собраться, обсудить, надо же что-то делать!

Котов помолчал:

— Честно говоря, Григорий Яковлевич, эта проблема меня напрямую не касается, да и как-то милиция об этом помалкивает. Неужели у тебя так плохо?

Гурушкин взревел:

— Это у тебя плохо, гаже некуда, если казахские машины ночами прорываются через границу именно на нашем участке, зельем торгуют почти открыто. Если вся торговля завалена флаконами с отравой. Деревня же спивается и гибнет! А ваша милиция делает вид, что ничего не происходит. Тебе это не кажется странным?

Котов обрадовался:

— Вот и обратись к начальнику милиции, я тебе еще раз говорю, что структуры федеральных ведомств местной власти не подчиняются, так что нет разницы — я пойду или ты.

— В таком случае, извини, конечно, на хрена нам такая власть? — Гурушкин резко бросил трубку.

Недавно назначенный начальник милиции Смолин никогда не был у Гурушкина в числе уважаемых. Не выветривалась из памяти история, когда тот, в бытность участковым, во время сенокоса выехал за село и встречал всякий транспорт, везущий с лугов уставших людей. Рассказывают, что остановил старенького «ижака», был такой мотоцикл с коляской. За рулем пожилой мужчина.

— Почему пассажир без шлема?

— Это не пассажир, это старуха моя, у нее и без каски головенка еле держится. Отпусти ты нас.

— Отпущу, но сначала протокол составим.

И наказал тех стариков на какую-то сумму. Уважения нет, но идти надо, дело того требует.

И объявил напрямик Смолину:

— Деревни наводнены наркотиками, товарищ майор. Всякое зелье из Казахстана везут через наши земли. И травка, и даже героин. Есть предположение, что торговцы местные и райцентровские в этом бизнесе основательно замешаны.

Смолин, молодой еще человек, показался Гурушкину чересчур полным, он в кресло едва входил, подбородок расположился почти на груди, закрыв узел галстука.

— Конкретные примеры, факты, фамилии?

— Ну, как вы понимаете, конкретикой не владею, профессия не та, но проблема есть, и люди вашей конторы тоже в этом замешаны, с их помощью курьеры проходят к нам.

— Но фактов нет? — Смолин встал: — Все равно, спасибо, Григорий Яковлевич, за сигнальчик насчет наших, это возмутительно и преступно, лично разберусь!

— Общественность узнает о результатах?

— Конечно. С опубликованием в печати.

Гурушкин не мог даже предположить, что майор глумится над его наивностью, что он сегодня же соберет нужных людей и потребует через мордобой усиления бдительности, потому что с каждой партии он, майор Смолин, имеет приличный куш, часть которого уходит в областное управление — делиться не хотелось, но надо, все под погонами ходим.

Семен Федорович пришел домой, прошелся свежей метелкой по влажной ограде, заглянул в горенку, где вот уже полгода, не вставая, лежала жена. У него не было к ней никаких чувств, ни дурных, ни добрых, как не было их и в первую брачную ночь после скоростижной свадьбы. Соседка за скромную плату ходила за умирающей, и все ждали конца.

Жена позвала:

— Семен, отмаялась я, ночью отойду. Клавке наказала, она придет почевать. Тебе сказать... Прощаю тебе все, и холодную постель, и баб других прощаю. Ежели что, Дарью в дом приводи, ты же по ней сохнул. А таперика иди.

Семен вышел, сел на крыльцо. Стало тоскливо и обидно за жизнь свою исковерканную, стыдно стало, что винил во всем Авдотью, даже бивал, грешным делом, по пьянке. За что — не мог сказать, зло вымещал. Человек часто так делает, находит безответного, сорвет зло — и как ни в чем не бывало. А бессловесный терпит до поры, потом возьмет топор и отсекает обидчику голову, как в прошлом году Витька Сибиряк Кольке Паропону чистенько отрубил, как арбуз отскочила. Смертное все у Авдотьи собрано, тес на гроб есть, могилу копать — завтра мужиков собирать надо. Взял сумку, добрел до магазина, купил по пять бутылок вина и водки. Продавщица понимающе молчала, гремя мелочью.

Сема свою старуху похоронил тихонько и остался один в стареньком пятистенном домишке. Наказ покойной сойтись с Дарьей он исполнять не спешил да и побаивался: вдруг не пойдет, только славы наделаешь на всю деревню. Варил себе супчик-пластанку, это когда картошка пластиками настрогана, заправлял пережаренным луком, хлеб брал в магазине, чай с сахаром пил.

Вот неожиданно как может куражиться жизнь над человеком, весь век прожили, дано чужие, а похоронил Авдотью — и пусто стало, слова не с кем молвить. Нельзя сказать, что тосковал Сема, нет, просто пусто, и все тут.

На сельмаговском крыльце прислушался к разговорам: Гани Корчагина сына Ромку ночью в районную больницу увезли.

— Перенасытили зельем, свернуло его, — шепнула соседка.

Сема сумку под мышку и в контору, Гриша лучше скажет.

— Передозировка наркотика, Семен Федорович, так это теперь называется, час назад говорил по телефону с врачом: плохи дела, иными словами, не выжить ему.

— Ганя там?

— Оба с Галиной там, но в палату не пускают.

Сема помолчал, смахнул слезу.

— Ты бы, Гриша, поехал туда, не дай Бог — случится — все хоть один человек рядом будет.

Гурушкин с благодарностью посмотрел на старика:

— Ты прав, прямо сейчас и поеду.

Ну и съездил, вовремя, к его приезду родителям уже объявили, мать сомлела и до сих пор без сознания, отец закаменел, ни слезы, ни слова. Поздно вечером вышел врач, отозвал в сторону Гурушкина:

— Поезжайте домой, Григорий Яковлевич, мы обоих оставим, с матерью не все ладно.

— С сердцем плохо?

Тот сказал тихо:

— С головой. Не в себе она. До утра будет спать, а там посмотрим. Раньше можно было санавиацию вызвать, а теперь в область везти — бензина может не оказаться.

Гурушкин остановил:

— Ты говори толком, куда везти, я машину пришлю. Ты сам-то определился, что с ней?

— Григорий Яковлевич, ну, чтобы тебе попроще сказать: рассудка лишилась женщина, и, похоже, очень серьезно.

Ганю увели в процедурный кабинет, напичкали уколами, и врач убедил его остаться в палате до утра. Про жену сказал, что с сердцем плохо, спит после капельниц. Ганю тоже скоро свернуло снотворное.

Утром все открылось. Ганя почернел, попрощаться с Галей, которую отправляли в область, его не пустили. В доме уже собралась вся родня. Говорили в полголоса. Тетки собрали одежду и поехали снаряжать парня.

Сема стоял в сторонке, всем кивал, в разговоры не ввязывался.

К обеду привезли Ромку. Лежал в гробу, будто шутки шутил, того и смотри — улыбнется. Ганя сел на табуретку у изголовья и не поднимался до вечера, все смотрел на сына. Гурушкин не мог вынести этого молчаливого взгляда, пытался заговорить с товарищем, но Ганя молча отводил его рукой.

На кладбище, когда уже собирались объявить прощание, в похоронной тишине неожиданно заговорил Гурушкин. Голос его, обычно ровный и спокойный, был звонким и надрынным:

— Этот наш парень убит не только подонками, которые дали ему яд, он убит государством, которое отвернулось от своего народа, убит властью, которая никак не может насладиться возможностью поручить страной. Мы уже знаем людей, которые руководят наркотиками в наших краях, и я клянусь, что мы выведем их на чистую воду. Перед памятью Романа клянусь, что так и будет...

Сема тоже бросил три горсточку мерзлой глины на красную крышку гроба. Дарья прошла следом за ним, отступила в сторону, знаками позвала Семена.

— Ты бы передал Григорию Яковлевичу, что две машины чужих, иномарочных, подъезжали к конторе.

— Что за личности?

— Не наши. Да и, похоже, не из района.

— Передам.

— Горячий обед в столовой будет, знаешь?

— Теперь знаю.

— Сходишь?

— Воздержусь. Я этого парня и так никогда не забуду помянуть, а панафиду хлебать, шутки в сторону, не время.

И он пошел в сторону деревни.

Вечером постучал в калитку к Славке Пальянову, тот вышел, на ходу запахивая полушубок.

— Дед Сема, тебе чего не спится?

— Успеем, Вячеслав, ты мне вот что скажи: людей тех, что в КАМА-Зе, ты в лицо узнать можешь?

— Не знаю, темно же было. Дед Сема, а ты не в следствие ли попался?

Сема возмутился:

— А ты как хотел? Чтобы наших парней вот так запросто в мерзлую землю зарывали? Надо всем собраться и писать в прокуратуру, прокурор-то — э-э-э, брат, это тебе не секретарь райкома, он стакан чаю предлагать не будет, сразу деляну отведет на Северном Урале!

— Дед, а ты, однако, там бывал?

— Не лезь назло, а бумагу такую писать надо, и прежде показать ее Григорию Яковлевичу. А я теперь же к нему.

Гурушкин вышел на ярко освещенное крыльцо, увидел за калиткой Сему, спустился, открыл засов.

— Ты почему не спишь?

— Какой сон, Гриша, ты знаешь, что на двух машинах приезжа-

ли, черных и красивых, пока мы Ромку хоронили? Не знаешь?! А я, кумекаю, что это от тех фигур посланцы, да не по твою ли душу? Торговлишку Хасана прихлопнул — они тебе не простят. Ты поостерегись бы вот так живчиком на всякий стук на крыльцо выскакивать. Ганя-то как?

— Никак. Ни слова не сказал за весь день, рюмки не выпил и слезы не проронил. Я вечером говорил с главврачом, Галя сильно плоха, рас-судком помешалась, психиатры считают такой вариант почти необрати-мым.

До чего же больно ранило Семино сердце горе Ганиной семьи! До-мой пришел, не включая свет, прилег на кровать, Ромку помянул, про Галю подумал хорошее, чтоб ей полегче стало. И Ганя вдруг нарисо-вался, это уж точно, задремал Сема, а Ганя веселехонький, чуть не в припляс, рукой ему машет, мол, до скорого свидания, Семен Федоро-вич!

Сему ободрало, сна как не было: не к добру это, ой, не к добру, не вынесет ретивое, сотворит что неладное. И — ноги в пимы, шубейку на плечи, выскочил на улицу. Ганин дом со всех сторон освещен, все вро-де тихо, Сема уже к воротам подошел, как глухо охнул выстрел. С минуту никого не было, потом на крыльцо вышли братья, мужья сес-тер.

— Вроде стрелял кто?

— Да нет, показалось.

— А Гаврила-то Романович у вас где? — заорал через забор Сема.

— Ктой-то там кричит?

— Правда, а Ганя где? В доме его нет.

Калитка брякнула, Семен влетел в ограду, мимо опешивших му-жиков кинулся в мастерскую. Любил Ганя послесарить, посамодель-ничать. И в последний раз сам все изладил, два крупных гвоздя в вер-стак вколотил, закрепил курок своего карабина, к сердцу измученно-му ствол приложил и дернул на себя. Осечек оружие у хорошего хозя-ина не дает.

Семен Федорович всю войну отвоевал, как посевную или уборочную отработал, сам дивился: ребята рядом гинут или каких членов лишают-ся, а его не берут ни пуля, ни осколок. Вперед шибко не бежал, но и сза-ди в толчки не подгонял никто, «За Родину, за Сталина» — только рот разевал, не орал, все сглазить боялся. Короче говоря, к демобилизации у солдата ни ранений, ни медалей, одну какую-то повесил ротный, но Сема и ее спрятал. Так ни с чем и явился в деревню.

Писали ему из дома, что гнездо Безбородихинское совсем разорили, Мартемьяна посадили вместе с приказчиком, имущество конфисковали, дом нечаянно сгорел, Дарья к тетке уехала в город, да там и замуж выш-ла. Странное дело — не горевал Семен, вроде такая любовь была, хоть в петлю, а случилось, ну и пусть так будет. А жениться шибко охота, в ос-вобожденных городах и селах Семен тоже не стеснялся, в наших преде-лах простым приемом пользовался солдат: увидел девку полных лет или бабу молодую, подмигнул пару раз, если понятливая — хохотнет, подо-лом поиграет, айда, мол, следом. А на иностранных землях страшновато стало, приказ за приказом, и не про наступление или вылазку, а чтоб баб ихних не трогать. Да ведь до того дошло, двоих парней, сказывали, в со-седнем батальоне трибунал к стенке лицом поставил. Тут поневоле все

хозяйство в живот втянет, по легкому соберешься — вспотеешь, пока отыщешь.

А с Авдотьей на сенокосе встретились, в одном кругу сено метали, Семен на стог подает, Авдотья приминает, утаптывает, вершит. Платишко на ней широкое, то и дело подол на голову закидывает ветром, почти все Семка высмотрел. Когда стог завершили, снял он Авдотью по вожжам, аккуратно, чтобы работу свою не нарушить, прижал к стогу:

— Больно на тебя смотреть, Авдотья, выходи за меня.

— Позовешь — пойду.

— А то! Сегодня же ко мне, бутылочка есть, отметим, а в первое же ненастье, когда метать нельзя, в сельсовет ходим.

Бригадиру наказал, чтобы мать баню истопила да ужин изладила погодней. Попарились раздельно, не пошла невеста с женихом. После ужина на сеновал ушли. Крепко обнял Семен молодуху, а та в слезы:

— Сема, порченная я, прошлым летом председатель в лес увозил.

До чего же тошно на душе стало у Семена, последняя мирная ночь вспомнилась, тут, на этом же сеновале, в такую же ночь миловался он с Дашенькой, вся жизнь теперь связана с этой ночью, но перевернулось, перекрутилось бытие. Дашеньки нет, есть Авдотья, к которой, кроме дневной вспышки страсти, он ничего не испытывал. Так и лежал на спине, положив руки под голову, молодожен хренов. Авдотья поспела и уснула. Перед рассветом он разбудил ее, — ни слова ласкового, ни поцелуя. Расписаться обещал — расписались, а жили не сказать как: ни хорошо, ни плохо, но тихо, как соседи.

С Дашенькой он все-таки встретился, она в какой-то городской конторе работала. Не особо обрадовалась или вида не подала, но с лица скраснела. Муж начальник, детей двое, дом свой.

— Он у тебя что, больной?

— Здоровый, с чего ты взял?

— Но на фронте же не был?

— Не был, он тут по мобилизации.

— Ясно. Мы там кровь проливали, а вы тут ребятишек делали. Интересная разнарядка!

— Ты-то как живешь? Женился, говорят?

— Знамо дело, и так от тебя отстал, надо отработывать. Ты ночку-то нашу не забыла?

Дарья смутилась:

— Ничего я не помню, Сема, так будет лучше.

— Славно! — Семен встал, поскрипел новыми хромовыми сапогами. — А ежели я тебя с ребятишками возьму — пойдешь?

Дарья едва встрепенулась:

— А Авдотья?

— Пойдешь, значит. Так. А я не возьму. Гиблое дело! Как ты могла ночке той и звездочкам тем изменить? Я что, я и с Авдотьей проживу, только запомни, Дарьюшка, из сердца боль не вынуть, нету таких спецов. Я видел на фронте парня, у него прямо из сердца осколок вытащили, железный, и то зажило, а тут память, мыслишка тонюсенькая, а не убрать, кровит. Прощевай.

В обратную дорогу он напился, его с трудом завалили в кузов полуторки, и все дивились: вроде непьющий, а тут нити не вяжет.

...Вечером Семен подошел к конторе, Дарья, как всегда в это время, домывала крыльцо. Встал в сторонке, дождался, когда она привычным движением выплеснет мутноватую воду и насухо выжмет прополосканную тряпку.

— Доброго вечера, Дарья Мартемьяновна.

— И тебе здравствовать, Семен Федорович.

— Ты погляди, как у нас все мило да любо, кто услышит со стороны — ну, чисто голубки.

— А кого нам теперь совеститься, подумай сам: я своего когда еще схоронила, все водки напиться не мог, ты тоже свежий холостяк. Да голубками и были когда-то, только война все понарушила. Садись на крыльцо, не ругаться, поди, пришел, в конторе нет никого, говори, что хошь.

— Ты войну-то здря обижаешь, не одна она виновата, могла бы и у тетки в девках пожить. После такого расставания у меня никакого сумления не было, женатым себя считал, где удастся приткнуться уснуть, там и с тобой повидаться. Все мне твой синячок на губе помнился, я его специально подкусывал, чтобы подольше сохранился, вроде как только что присосала девчонка.

Дарья смахнула слезу:

— Как бы можно было у тетки жить, не метнулась бы. В Красну Армию хотели забрать, уже на комиссии гоняли, да только нельзя мне было на фронт.

— Очень даже можно, девок множо видел на фронтах, и по санитарной части, и по связи.

— Нельзя мне, Сема, я уже тяжелая была.

— Вот так? И когда же успела?

Дарья возмутилась:

— Ах ты, «когда успела?», а не ты ли всю ночь, прости господи, до седьмого поту, да тут диво было не понести! Сын-то, который сейчас на Севере, Павлик, от твоего семени, а Георгий Николаевич, когда узнал, что не гожусь к мобилизации, замечать меня стал, в контору пристроил, продукты приносил.

Сема не слышал последних слов, он никак не мог понять про Павлика, зачем она говорит, что его семя?

— Обожди, Дарьюшка, дай одуматься, что ты мне про Павла-то сказала? Мой, говоришь? А когда он родился?

— В марте, как и должно. Сема, не вини меня, что вышла за другого, не выжить бы мне с дитем, а он взял, на себя записал. Раньше не говорила тебе и седни бы промолчала, да как-то расположилось все к этому разговору.

Сема плакал, слезы стекали по его щекам, он подбирал их застиранным платочком.

— А ведь я думала, что ты найдешь меня сразу, как вернешься, я бы все бросила, к тебе пошла. И когда повстретились, ты уж женатый был, и тогда бы пошла, да ты возгордился.

Сема всхлипнул:

— Тяжело, поди, одной-то? В районе-то, говорят, квартирка была и с теплом, и с уборной, а все оставила и переехала в глухомань нашу.

— Домой вернулась. А тяжесть — какая тяжесть? Хозяйство не держу, пенсию дают хорошую, да мне много ли надо?

Сема вздохнул:

— А мне тяжело. Ты, может, смеяться будешь, а я все ночами молодость нашу вспоминаю, у меня же ни одной девки не было, кроме тебя. Новой раз до того забудусь, что заговорю с тобой на ласковом языке.

— Неуж-то все помнишь? Ведь полвека прошло.

— Все до ниточки помню, вот как сейчас, и шутки в сторону.

— Ничего не вернуть, Сема, жизнь прошла.

— Ну, тут я не согласный, жисть продолжатся, надо только за ней поспевать. Вот я пришел к тебе, думаю, может, нам сойтись?

— Бог с тобой, Семен Федорович, в наши-то годы?

Сема взбодрился:

— А чего? Пусть знают молодые, что первая любовь навсегда сердце расшевелит.

— Засудит нас деревня.

— Дурак, можа, и осудит, а всякий умный, которых поболе, согласится, что правильно сделали. Только надо хату в порядок привести.

— Нет, лучше ты ко мне перетащись, у меня и домишко покрепче, и к центру ближе.

Сема смутился:

— Нельзя, не положено в примачи выходить. Ладно, оставим до утра, я с Гришей посоветуюсь, он ведь как сын мне. А с Павликом как быть? Сопчишь ему об истинном отце?

Дарья качнула головой:

— Писать не буду, а вот приедет через месяц, тут и обсудим.

Сема подвинулся по плашке ближе к Дарьюшке, обнял ее за плечо, она положила голову ему на грудь. Совсем, как в ту ночь, которая была первой и пока последней в их совместной жизни.

...Собраний давно в деревне не было, как партию и советы распустили, так и собираться перестали, тем более днем, так что полный клуб набился народу. Приезжие и хозяева из конторы шли гуськом и не разговаривали. Семен стоял на крыльце, докуривал, все видел и понял, что дело плохо, раз молчком идут. Председатель колхоза открыл собрание:

— Повестка дня известна: о роспуске колхоза и формировании земельных и материальных паев работников. Присутствует начальник управления сельского хозяйства района Дымчаков и заведующая экономическим отделом районной администрации Кукорина. Начну с собственного сообщения. Вы знаете, товарищи, что цены на нашу продукцию из года в год падают, а на все то, что необходимо, чтобы произвести молоко, мясо и хлеб, цены растут. Андрей Ляпышев не даст соврать, когда у него на «Кировце» двигатель стукнул, а нам зяби еще пахать немерено, я загрузил десять быков, увез на мясокомбинат, там квитанцию выдал, с ней в Агроснаб, и к вечеру мы новый трактор пригнали. Так, Андрей?

— Верно!

— Сегодня за «Кировец» надо табун быков гнать, солярка в пять раз дороже молока. Как жить? Чем больше работаем, тем больше должны поставщикам, налоговой инспекции, всяким фондам. Получается, настали такие времена, что страна в крестьянине не нуждается и сельское хозяйство ей не нужно.

— В таком виде, конечно, не нужно, — заявила из президиума Кукорина. — Вы же банкроты, сами себя съели.

— Ладно, мы не нужны, а кто народ кормить будет?

Кукорина встала:

— Западные развитые страны поддерживают нашу демократию, предлагают продукты в несколько раз дешевле, чем стоимость вашего не самого качественного мяса и молока.

— А нас куда?

— Дустом травануть?

— И жить чем?

Зал гудел. Поднялся Дымчаков, он уже не первое собрание проводил, потому несколько не смущался:

— Каждый из вас получит пай, долю от колхоза. Можете регистрировать крестьянско-фермерское хозяйство и работать только на себя, посмотрите, как в Америке живут фермеры, половина — миллионеры. Можете объединяться и работать в кооперативе, это как маленький колхоз, только опять же на себя, захотите продать государству — пожалуйста, нет — решайте сами.

Встал Славка Пальянов:

— Нас в колхозе не пятьсот ли душ? Тракторов всех марок, если не ошибаюсь, меньше ста, комбайнов сорок. И как делить? По колесу на брата? Это же дурь!

Григорий Яковлевич постучал карандашом по графину на трибуне:

— Дайте мне закончить. Вопросов будет в тысячу раз больше, чем назвал Пальянов. Но я хочу вот на чем остановиться. Новые власти не любят советы и коммунистов, вместе с тем ненавидят все то, что ими создано. Да, мы жили не очень богато, но ровно. Мы создали за послевоенные сорок лет колхозную деревню как единый социально-экономический организм. У нас все было едино. Мы фермы строили и квартиры бесплатные, мы клубы, больницы, школы сделали в каждой деревне. Скажите мне, кто самый главный хозяин был в деревне? Парторг? Нет! Председатель сельсовета? Нет! Председатель колхоза самый главный, потому что у него все ресурсы, вся техника, все средства. Для чего? Для людей, для вас всех. Елена Васильевна, учительница наша, на прошлой неделе ночью рожать надумала — куда медичка прибежала? Ко мне. Я дал команду водителю, чтобы роженицу увезли в район. А третьего дня умер ветеран труда, заслуженный механизатор Егор Платонович. В колхозной столовке гроб сделали, на колхозной машине на кладбище увезли, в колхозной столовой поминки справили. Вот он, деревенский живой организм, от рождения до смерти человек в коллективе. Если все это будет разрушено, деревня погибнет. Наши деды еще общинами жили, мы тоже к такому пришли, только на другом уровне, но сегодня все перестраивается. Я вырос в колхозе, десять лет председателем был. Гробить своими руками все, что создавал, не хочу и не буду. При всем народе заявляю, что обязанности руководителя с себя снимаю.

Дымчакова такой вариант явно не устраивал:

— Минутку, Григорий Яковлевич, значит, вы в кусты, а кто отвечать будет за колхоз, вернее, за долги, которые вы накопили?

Гурушкин побагровел:

— Прошу, господин Дымчаков, выбирать выражения. Дела сдам по документам, любую комиссию назначайте. Только прямо сейчас подтвердите свой приказ отгрузить Облхлебопродукту практически весь намолоченный хлеб и сдать тридцать коров в счет долгов кооператива

«Казбек». Вы обещали, что деньги поступят на наш счет немедленно, но сегодня я выяснил, что нашим зерном закрыли долги района, а «Казбек» получил расчет за мясо наличными. Как это прикажете понимать?

Дымчаков улыбнулся:

— Вы, Григорий Яковлевич, типичный представитель советских методов руководства, вам не понять тонкостей сегодняшних экономических отношений. Мы такие хозяйства, как ваше, будем закрывать, дадим людям свободу, и через три года новые крестьяне завалят страну продуктами.

Зал загудел, но всех перекричал Семен Федорович:

— Хочу просить товарища или господина, теряюсь теперь, пояснить народу, как это он изловчится за три года новых крестьян настряпать. У меня, верно, детей... вроде как не было, гиблое дело, но процедура мне известна, тут тремя годами не обойтись. Это одно. Другое: зачем так резко: либо он пополам, либо она вдребезги! Если без смеха — вы подмогните деревне, вы же видите, что люди работают, собосите. Я все смеялся над советской властью, что у нее бензин стоил дешевле газировки. Дохирикал, за литру солярки надо вылить подойничек молока. Жду ответа, дорогой уполномоченный.

Дымчаков широко улыбнулся. Вообще красивый парень, волосы назад, бородка, как положено, аккуратно подбрита, галстук богатый, аж глаза скрадыват, костюм с отливом, туфли востроносые.

— Я позволю себе повторить притчу, рассказанную нашим уважаемым российским руководителем. Голодному человеку надо дать удочку, а не рыбу, готовую рыбу съел, и опять голодный, а на удочку можно ловить, сколько хочешь. Колхозы и совхозы — это черная дыра, в нее хоть сколько ни вливай, все равно никакого толку.

Голос из зала перебил:

— Вы бы насчет дыр поаккуратней, а то женщины уж платками закрываются.

Дымчаков смутился:

— Прошу прощения, во всем виновата многозначность русского слова, но, впрочем, не о том речь. Государство в корне пересмотрело свое отношение к сельскому хозяйству, и будет поддерживать сильных, способных развиваться, слабые... отомрут сами собой, люди найдут занятие. Вот, говорят, в ваших местах грибов много: создавайте артели, заготавливайте и продавайте хоть до Москвы.

Толпа оживилась:

— Верно, мужики, какого хрена я вкалывал на ферме, когда от первых лесков и до самого кордона о грузди запинашься, пройти нельзя. До внукова поколения семью бы обеспечил, опять же на свежем воздухе.

— Нет, Кипря, ты бы только на соли большие траты имел, соль сразу в цену пошла бы.

— Сушить! Опята очень даже хороши сухие.

— А обабаки лучше мариновать, кума сказывала.

Гурушкин видел, что собрание утратило интерес к повестке дня и вообще к завтрашнему, безысходность и бессильную злость скрывали мужики за грубой шуткой — такое тоже бывало.

— Григорий Яковлевич, ведите собрание, что это за балаган? — шипел над ухом Дымчаков.

— Что вы, Антон Анфентьевич, разве это не есть демократия, о которой вы столько речей задвинули? Пусть выскажутся люди, все равно им терять уже нечего.

Расчеты экономистов по земельным и имущественным паям слушали в полуха, бабы перешептывались, мужики говорили в открытую, комментируя очередной вывод экономиста.

— Земельная доля составит пятнадцать гектаров на работающего, но это вместе с пастбищами и сенокосами, чистой пашни четыре с половиной гектара. Имущественный пай будет зависеть от стажа работы и заработной платы, потому все расчеты объявим позднее.

Встал Дымчаков:

— Всем все понятно? Таковы правила игры.

Зал угрюмо молчал. Кто-то вздохнул:

— Ребята, не бойсь, это всего лишь игры, только проигравшему не жить.

Дымчаков кашлянул и предложил принять резолюцию.

— Обожди с резолюцией, — вперед протиснулся Семен Федорович. — Я вот сейчас гляжу на тебя, господин представитель, и вспоминаю, как много лет назад вот так же стоял такой же уполномоченный и тряс резолюцией о создании колхоза и зачислении всех жителей гуртом в это дело. У тебя только нагана не хватат; у того уполномоченного наган был и помогал ему, как только в зале шумок, или кто не то понес в речах, он нежненько так наганчик с руки на руку перебрасывал. Я хоть и совсем малым был, но помню. И речи ваши очень даже похожи, только у того загнать всех любыми судьбами, а у тебя разогнать опять же любой ценой, потому что в Москву, наверно, уж доложили, что разрядка исполнена.

Дымчаков вскочил:

— Я бы попросил...

— И не проси, взял слово — ни за что не отдам. Я в народе считаюсь легоньким, вроде как дурачком смирным, но меня не обижают и слушают, когда говорю. Страшное дело происходит на наших глазах, грязный нож, каким бабы полы скоблят, в самое сердце деревне вонзают, а дети ее, словно чужекровные, молчат, не встали стеной, не загородили мать родную. Вы присмотритесь, у таких уполномоченных ничего нет, акромья резолюций, им что колхоз прикончить, что целый народ голяком пустить. Помянете меня потом, отрыгнется вам сегодняшнее молчание. Гиблое дело, если шутки в сторону.

— Ты что, дед, к бунту призываешь? — выкрикнул Дымчаков.

Сема вскипел:

— Какой я тебе дед? Ежели бы у меня был такой внук, я бы удавился в ближайшем туалете, чтобы приличные места не осквернять. Ухватить и разорить — вот что по вашей части, и ваш брат премного преуспел, как говаривал наш парторг Володимир Тихонович, не тем к ночи помянутый.

— Он что, умер?

— Живой, но дело его погибло. Сейчас вот вроде поминок проводим.

...Гурушкин с раннего утра в правлении, надо все бумаги еще раз проверить. Ровно в восемь позвонили из приемной главы администрации района, и дама солидным голосом предупредила, что соединяет с Сергеем Лукичем Котовым. Гурушкин выругался: что крестьяне, то и обезья-

не, раньше первый секретарь райкома звонил без посредников, а сегодня протокол, субординация, батенька...

— Будь на месте, я через час подъеду, надо поговорить.

Вошел, руки не подал, сел за стол с уголка:

— Григорий Яковлевич, ты почему себя так вольно ведешь? Или ты иной власти, кроме партийной, не признаешь? А я тебе напомним, что это мы, новый состав районного совета, спасли тебя от жестокого наказания, возможно, и от тюрьмы, и ты должен быть благодарен.

— За что? Да, я поддержал ГКЧП, потому что комитет брал на себя ответственность за большую страну, когда уже никто не хотел отвечать, и противостоял тем, кто готов был ее запродать. Я видел пресс-конференции и подленькие вопросы слышал, которые задавали откровенно антисоветские, проамериканские журналисты, видел, что комитет слаб, нуждается в поддержке, и я заявил о своей солидарности с ГКЧП.

— Заметь, заявил на областном телевидении, тебя на всю страну потом показывали, прокурор области настаивал на твоём аресте. И все-таки мы тебя не отдали.

Гурушкин возмутился:

— Что ты меня, Сергей Лукич, все укоряешь этим заступничеством? Я на сессии райсовета прощения не просил и в ноги тебе не падал, наоборот, соглашался на открытый суд, и не потому ли ты предложил перерыв сделать, что советовался, с кем надо: а можно ли допускать до суда? Он там такого может наговорить, что снова придется танки вызывать. Втихушку прихлопнуть меня вы уже побоялись, а открытый процесс и того страшнее.

— Да, вижу, что выводов ты не сделал, а жаль.

— Почему не сделал? Сделал, что только задним умом мы крепки. Комитетчики слабы оказались на крутые меры, и войска ввели, а ходу им не дали. Там и надо-то было полсотни человек изолировать, а духу не хватило, не смогли переступить через нравственные принципы. Зато через два года юная демократия все сделала, как надо, и войска ввела, и из танков по Верховному Совету постреляла. Правда, все с подсказки дядьки заморского, зато с прямой трансляцией позорного расстрела по американским каналам.

— Ну, ты не загибай.

— Что, забыл, оспариваешь? Да у меня три кассеты записаны с монотонными картавыми комментариями, могу одолжить, чтобы освежил память, но только они тебе уже ни к чему. Ты лучше скажи, зачем приехал?

Котов за все время разговора глаз не поднял, смотрел куда-то мимо, и ответил никому, в сторону:

— Направляем к тебе большую ревизию, все проверим, о зерне и мясе ты зря объявил, все переиграем, и ты окажешься в дураках. Потому мой совет: подпишешь документы в таком виде, как подготовит Дымчаков, и уезжай, друзей у тебя много, устройшься. Встанешь поперек — раздавлю, вместе нам не работать. — Котов резко встал и хлопнул дверью, аж штукатурка посыпалась.

«Вот оно как! — подумал Гурушкин. — Политические противники становятся противниками экономическими. Знать, большую аферу задумали они с колхозом, если он так открыто грозит и прямо предлагает. Ладно, посмотрим, какие документы привезет Дымчаков».

Дымчаков положил перед Гурушкиным красивую папку с тиснением фамилии владельца и сам открыл первый лист:

— Это приказ о вашем увольнении. В одном экземпляре распишитесь, второй возьмите себе на память. Далее. Разрешение на передачу техники, тут все госномера, другие данные — о передаче в порядке погашения долгов кооперативу «Мечта», по остаточной стоимости.

Гурушкин молчал. Дымчаков перевернул следующий лист:

— Договор о продаже свиноголовья частному предпринимателю Исламбекову.

— Мусульманину грешно заниматься свиноводством, — попытался пошутить Гурушкин.

— Почему грех, если ваши работники погрузят, а на мясокомбинате забьют? Деньги даже после свинины не пахнут, Григорий Яковлевич!

— Похоже, в запахах вы неплохо разбираетесь. Котов эти бумаги видел?

— Видел, знает и одобряет, от него возражений не последует.

— Да, было бы диво.

— Что вы сказали?

— Вы для чего мне эти бумаги показываете? Подписывать их я все равно не буду, тем более что уже освобожден. Поглумиться захотелось, насладиться горем?

— Какое горе, Григорий Яковлевич? Был колхоз — нет колхоза, вам-то какая разница? Вашего же ничего не пострадало? Но бумаги эти вам придется подписать.

— Нет, Дымчаков, нам друг друга никогда не понять.

— И не надо. Для сведения: преобразование хозяйства продолжит Дымчаков Олег Анфентьевич. Удивлены? Да, мой младший брат.

— Вдвоем и батьку бить ловчее.

Гурушкин прочитал все документы и ничему не удивился, по ним основные средства колхоза арендовались, передавались или продавались чужим, посторонним людям. Он понимал, что Дымчаков готов к его отказу, у них на этот случай есть запасной вариант, но он понимал так же, что никогда не подпишет такие документы не потому, что они незаконны — если надо, эти ребята и закон подправят, а потому что они противны его совести и гордости.

— Дымчаков! С братцем будете претворять эти решения в жизнь, без меня. Вот смотрю на вас и думаю: неужели вы уверовали, что бога за бороду держите, что все теперь в ваших руках? Неужели нет страха, опасения, что отвечать придется?

Дымчаков внимательно на него посмотрел:

— Перед кем? Хорошо, откровенность за откровенность. Вы утратили власть и собственность, я имею в виду коммунистов, Советы... К прошлому возврата не будет. О народе вы напрасно беспокоитесь, он будет выживать и потихоньку сокращаться количественно. Возвращается капитализм, приходит собственник, мы станем частью мировой экономической системы. Россию будут уважать.

Гурушкин горько улыбнулся.

— Вы, наверное, образованный человек, а простых вещей не понимаете. Страну, государство прежде всего должен гражданин уважать, а остальные — как хотят. Новоявленные собственники по сути жулики, потому что в нашей стране невозможно было стать миллионером на раз, не

нарушив закон. Так что вся ваша знать, от наших торгашей и до государственных чинов, ставших миллионерами — преступники, и теперь уже не важно, признает их таковыми суд или не признает. Главное, что народ это очень хорошо понимает.

Дымчаков собрал бумаги:

— Достаточно, Гурушкин, заговорились мы с вами. Об одном прошу: не мешайте нам работать. Уехать бы вам, например, в Тюмень, мы и с квартиркой поможем.

— Спасибо, не стоит забот. Я тут останусь, вы пришли и ушли, а тут родина моя. Все!

Он положил на стол ключ от кабинета и вышел. Дарья Мартемьянова домывала полы в коридоре...

